
**СЕМАНТИКА ТЕКСТА
КАК ПЕРВОПРИЧИНА СЮЖЕТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ГЕРОЕВ,
ИЛИ ОТЧЕГО КНЯЗЬ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
ОСТАЛСЯ С НАСТАСЬЕЙ ФИЛИППОВНОЙ, А НЕ С АГЛАЕЙ**

О.И. Валентинова

Кафедра общего и русского языкознания
Российский университет дружбы народов
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, Россия, 117198

Статья представляет собой реализацию опыта филологического герменевтического комментария фрагментов романа Ф.М. Достоевского «Идиот».

Ключевые слова: филологическая герменевтика, сюжет, эстетическая система, мнимость, сюжетная связанность, семиотическая значимость.

Мифологическое представление об абсолютной достоверности устоявшегося понятийного аппарата нередко мешает исследователям соблюсти обязательное требование филологической герменевтики – понять текст исходя из него самого. Казалось бы, как может взятое на вооружение общепризнанное понимание того, что есть сюжет, привести к герменевтической ошибке?

Сюжет а priori признается безусловной достоверностью текста. Выстаиваемая художником последовательность событий, действия, поступки героя, смена положений и обстоятельств – это и есть сюжет, признаваемый неопровержимым аргументом в оценке персонажа. Самое происхождение этого слова (сюжет – от франц. *sujet* ‘предмет’) подчеркивает предметную основательность того, что им обозначается.

Что же опасного в таком понимании сюжета? Ничего, если только не считать это определение абсолютным, то есть достоверным для любой эстетической системы.

На самом деле для оценки одних эстетических систем это определение верно. Для оценки других эстетических систем – ложно. Такой подход окажется естественным, если мы не будем забывать, что истинный смысл каждой детали постижим лишь через осознание этой детали в общей структуре целого.

Очевидность сюжетных положений может оказаться столь же иллюзорной, как и очевидность любой другой составляющей художественного текста. А сюжетный поступок героя способен обернуться фикцией, не определяющей ни семантической структуры текста, ни семантической структуры образа.

Отчего князь Лев Николаевич Мышкин остался с Настасьей Филипповной, а не с Аглаей? Этот вопрос мучает не только старшеклассников, «изучающих» Достоевского в школе.

«Нет, князь Мышкин – одна идея, то есть пустота. Да и роль-то его какова! Он стоит между двух женщин и, точно китайский болванчик, кланяется то в одну, то в другую сторону» [3. С. 73]. «Комический Дон-Кихот превращается в трагического Дон-Жуана» [2. С. 251]. «Реакция» рассказчика похожа на реакцию исследователей: *«Представляя все эти факты и отказываясь их объяснить, мы вовсе не желаем оправдать нашего героя в глазах наших читателей. Мало того, мы вполне готовы разделить и само негодование, которое он возбудил к себе даже в друзьях своих»* [1. С. 470].

Столь бурное возмущение читающей публики и героев самого романа вызвали «неблаговидные» романские «поступки» Идиота: князь не смог предотвратить встречи Аглаи с Настасьей Филипповной и не сопротивлялся своему браку с Настасьей Филипповной после этой встречи. А ведь князь Мышкин, наделенный «необыкновенной способностью к предугадыванию, почти граничащей с ясновидением» [3. С. 73], не мог сомневаться в трагическом исходе встречи двух «соперниц». Единственной попыткой князя остановить Аглаю была запинаящаяся реплика, в которой более покорности, чем стремления изменить решение Аглаи увидеться с Настасьей Филипповной: *«...но... разве это возможно?»* [1. С. 463]. После этого князь отказывается от проявления своей воли: *«Он оборвался (выделено мной. – О.В.) в одно мгновение и уже ничего не мог вымолвить более. Это была единственная попытка его остановить безумную, а затем он сам пошел за нею, как невольник... Он угадывал, какой силы ее решимость; не ему было остановить этот дикий порыв»* [1. С. 468]. Так свершилось «невозможное»: *«Князь, который еще вчера не поверил бы возможности увидеть это даже во сне, теперь стоял, смотрел и слушал, как бы все это он давно уже предчувствовал»* [1. С. 470]. И все же князь не мог поступить иначе: за внешне безвольным подчинением фантастическому желанию Аглаи скрывается собственное волеизъявление, продиктованное логикой семантического развития образа князя. Эта встреча **нужна** (выделено мной. – О.В.) князю, потому что именно в этой встрече он с бесповоротной определенностью отказался от любви к женщине ради христианской любви. Этот выбор стоил князю романного земного счастья, ведь *«он знал, кого любил»* [1. С. 467]. На вызов Настасьи Филипповны *«Если он сейчас не подойдет ко мне, не возьмет меня и не бросит тебя, то бери же его себе, уступаю, мне его не надо!..»* [1. С. 474] – князь ответил не как мужчина, а как христианин: *«Он только видел пред собой отчаянное, безумное лицо, от которого, как проговорился он раз Аглае, у него «пронзено навсегда сердце». Он не мог более вынести и с мольбой и упреком обратился к Аглае, указывая на Настасью Филипповну:*

– Разве это возможно! Ведь она... такая несчастная!

... Чрез десять минут князь сидел подле Настасьи Филипповны, не отрываясь смотрел на нее и гладил ее по головке и по лицу обеими руками, как малое дитя» [1. С. 474–475].

Не Настасью Филипповну предпочел князь Аглае. Пожертвовав любовью к женщине, он оставил за собой право только на христианскую любовь. Князь поступил как Богочеловек, и, как Богочеловек, он не мог поступить иначе. Этим поступком князь довел до осязаемого совершенства схематическую идею своей притчи о Мари [1. С. 57].

Безропотное подчинение князя чужому волеизъявлению – одна из самых опасных мнимостей сюжета. Соблазн сюжетного истолкования образа – искушение, подстерегающее нас на пути понимания Достоевского.

Итак, князь остается с Настасьей Филипповной и не сопротивляется ее желанию обвенчаться с ним в Павловске на глазах у Епанчиных: *«Сомнения нет тоже, что тут не было над ним никакого насилия (со стороны, например, Настасьи Филипповны), что Настасья Филипповна действительно непременно пожелала скорей свадьбы и что она свадьбу выдумала, а вовсе не князь; но князь согласился свободно; даже как-то рассеянно и вроде того, как если бы попросили у него какую-нибудь довольно обыкновенную вещь» [1. С. 478].*

Так же, как встреча Аглаи и Настасьи Филипповны была для князя важнее, чем для Аглаи, так и свадьба с Настасьей Филипповной **нужна** князю более, чем Настасье Филипповне. Свадьба с Настасьей Филипповной незначима для князя: на сострадании не женятся. Поэтому князь и *«согласился свободно»*. Этого не поняла Аглая и потому не простила князя. Это поняла Настасья Филипповна и потому убежала с Рогожиным со свадьбы. Карнавальная характер этой свадьбы очевиден, и итог ее предопределен вектором смыслового развития романа: Настасья Филипповна **должна** убежать с Рогожиным, а князь был и останется **рыцарем и девственником**.

Из всех смыслов, соотносящих образ героя Достоевского с образом Богочеловека, первым в линейном развитии романа окажется именно **девственность**. В первом же эпизоде романа, в поезде в компании едва знакомых людей, князь, успев лишь представиться Рогожину, спешит сообщить ему о своей девственности:

«– А до женского пола вы, князь, охотник большой? Сказывайте раньше!»

– Я, н-н-нет! Я ведь... Вы, может быть, не знаете, я ведь по прирожденной болезни моей даже совсем женщин не знаю.

– Ну коли так, воскликнул Рогожин, – совсем ты, князь, выходишь юродивый, и таких, как ты, бог любит!

– И таких господь бог любит, – подхватил чиновник» [1. С. 14].

Готовность отвечать и откровенность – обязательны для всех высказываний героя: *«Готовность белокурого молодого человека в швейцарском плаще отвечать на все вопросы своего черномазого соседа была удивительная и без всякого подозрения совершенной небрежности, неумест-*

ности и праздности иных вопросов»; «На первый случай я положил быть со всеми вежливым и откровенным...» [1. С. 64].

Именно эти свойства ведут к расшатыванию казавшегося стандартным для художественного мира Достоевского диалога-допроса, в котором каждая новая «доля» информации добывалась крайне затрудненно: натиску «выпытывающего» оказывалось серьезное сопротивление со стороны «выпытываемого». Князь же Лев Николаевич не сопротивляется любопытству собеседника, он раскрывается без видимых усилий, устремляясь навстречу любому, самому «нескромному» вопросу и предвосхищая следующий вопрос, еще более нескромный. Так, князь не только отвечает на вопрос Рогожина, но и опережает возможный, но вовсе не обязательный вопрос: «Почему не охотник до женщин?»

Нет вопроса, на который бы князь отказался отвечать. Этот факт накладывает и на сами вопросы оттенок условности: их могло бы и не быть. Образ князя, нацеленный на предельное самораскрытие, освобождается от привычных форм сюжетной связанности. Когда искусство не «дублирует» действительность, а дает наиболее глубокое постижение ее смысла, тогда семиотическая значимость внешнего начнет парадоксально снижаться.

Позже князь подтвердит свою девственность и Гане, **также едва успев с ним познакомиться: «Я не могу жениться ни на ком, я нездоров...» [1. С. 32].**

Читатель услышит о девственности князя и из разговора князя с Рогожиным: **«Будь же спокоен и не подозревавай меня. Да и сам ты знаешь: был ли я когда-нибудь твоим настоящим (выделено мной. – О.В.) соперником, даже и тогда, когда она ко мне убежала. Вот ты теперь засмеялся: я знаю, чему ты усмехнулся. Да, мы жили там розно и в разных городах» [1. С. 173].**

В этих эпизодах девственность князя еще объясняется сюжетно, болезнью героя, но наконец, сюжетное оправдание опускается и называемый символический смысл девственности становится очевидным. Рыцарство и девственность предстают равнозначимыми и значительными признаками князя. Евгений Павлович Радомский скажет князю: **«И вот в тот же день вам передают грустную и поднимающую сердце историю об обиженной женщине, передают вам, то есть рыцарю и девственнику, – и о женщине!» [1. С. 481].**

Не с Настасьей Филипповной свадьба, а свадьба с Аглаей разрушила бы и цель, и подчиненную этой цели логику смыслового развития образа князя.

В свободном покорении князя чужому «я» более всего самоволения, целенаправленного устремления к предельному проявлению себя как Богочеловека. Через осознание смысловых совпадений и несовпадений героя Достоевского с Евангельским Образом мы постепенно сможем приблизиться к пониманию феномена князя Мышкина и найти первопричину сюжетного существования героя.

Любая наука мифологична. Абсолютизируя условность, принятую некогда для удобства анализа, мы создаем мифы. Признание же безусловной

первичности эмпирического материала требует сознательного отстранения от того, что ранее было в условии задачи. В том числе и от понятийного аппарата.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] *Достоевский Ф.М.* Идиот // Полн. собр. соч.: В 30 т.– Л., 1973. – Т. 8.
- [2] *Мережковский Д.С.* Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. – М., 1995.
- [3] *Шестов Л.* Достоевский и Нитше: Философия трагедии. – Берлин, 1922.

TEXT SEMANTICS AS A PRIME CAUSE OF THE SUBJECT AND THE CHARACTERS' BEHAVIOUR (OR: WHY THE DUKE LEV NIKOLAYEVICH STAYED WITH NASTSYA PHILIPPOVNA, BUT NOT WITH AGLAYA)

O.I. Valentinova

The General and Russian Linguistics Department
The Philological Faculty
Peoples' Friendship University of Russia
Miklukho-Maklaya Str., 6, Moscow, Russia, 117198

The article represents an example and realization of the philological hermeneutical commentary of parts of F.M. Dostoyevsky novel «The Idiot».

Key words: philological hermeneutics, subject, aesthetical system, ostensibility, subject cohesion, semiotic value.